**Маргиналы**

 1.ВСТУПЛЕНИЕ

 Понятие маргинальности служит для обозначения пограничности, периферийности или промежуточности по отношению к каким либо социальным общностям (национальным, классовым, культурным). Маргинал, просто говоря,- “промежуточный” человек. Классическая, так сказать, эталонная фигура маргинала - человек, пришедший из села в город в поисках работы: уже не крестьянин, еще не рабочий; нормы деревенской субкультуры уже подорваны, городская субкультура еще не усвоена. Главный признак маргинализации - разрыв социальных связей, причем в “классическом” случае последовательно рвутся экономические, социальные и духовные связи. При включении маргинала в новую социальную общность эти связи в той же последовательности и устанавливаются, причем установление социальных и духовных связей как, правило, сильно отстает от установления связей экономических. Тот же самый мигрант, став рабочим и приспособившись к новым условиям, еще длительное время не может слиться с новой средой.

 В отличии от “классической” возможна и обратная последовательность маргинализации. Объективно все еще оставаясь в рамках данного класса, человек теряет его субъективные признаки, психологически деклассируется. Ведь деклассирование - понятие прежде всего социально-психологическое, хотя и имеющее под собой экономические причины. Воздействие этих причин не является прямым и немедленным: объективно выброшенный за пределы пролетариата безработный на Западе не станет люмпеном, пока сохраняет психологию класса и прежде всего его трудовую мораль. У нас в стране нет безработицы, но есть деклассированные представители рабочих, колхозников интеллигенции, управленческого аппарата. В чем их выделяющий признак? Прежде всего- в отсутствии своего рода профессионального кодекса чести. Профессионал не унизится до плохого выполнения своего дела. Даже при отсутствии материальных стимулов настоящий рабочий не сможет работать плохо - скорее он откажется работать вообще! Физическая невозможность халтурить отличает кадрового рабочего-профессионала (так же как и крестьянина, и интеллигента) от деклассированного бракодела и летуна.

2. ПРИЧИНЫ ДЕЗОРГАНИЗОВАННОСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

 Привычку к расхлябанности, дезорганизованности порождает множество причин. Кратко проанализируем основные из них.

 Первая мировая война усилила в социальной структуре российского общества маргинализационные процессы. Едва ли не в наибольшей степени затронули они рабочий класс. Что он представлял из себя до войны? Общая численность (без членов семей) - 15 миллионов человек, в том числе промышленных рабочих - только 3,5 миллиона, из них кадровых - 600 тысяч. Именно эта группа в силу своих особых качеств составляла главную социальную базу большевистской партии. И период войны значительная часть кадровых рабочих были призвана в действующую армию (в Петрограде, например, тридцать процентов), а на смену им пришли далеко не лучшие. Ленин неоднократно отмечал, что в период войны фабрично-заводское производство привлекает “всех, спрятавшихся от войны, босяцкие и полубосяцкие элементы, проникнутые одним желанием “хапнуть” и уйти”. [1, с275]

Последовавшая за революцией гражданская война привела к взаимному истреблению наиболее активных элементов российского общества, составлявших культурное меньшинство народа. Это в полной мере относится и к рабочему классу: из гражданской войны и сопутствовавшей ей разрухи вышел “пролетариат, ослабленный и до известной степени деклассированный разрушением его жизненной основы-крупной машинной промышленности...”. [2,с10] “...Неслыханные кризисы, закрытие фабрик привели к тому, что от голода люди бежали, рабочие просто бросали фабрики, должны были устраиваться в деревне и переставали быть рабочими”. [3, с 42]

В августе 1920 года переписью было учтено 1,7 миллиона промышленных рабочих (менее 50 процентов от их довоенной численности), из них кадровых - около 700 тысяч (по другим, скорее всего, более точным данным - всего 350 тысяч человек). Некоторые авторы вполне справедливо увязывают падение авторитета и влияния ленинской гвардии в партии с истончением слоя кадровых рабочих, являвшихся ее социальной базой и источником пополнения. В годы гражданской войны и военного коммунизма развал хозяйства и деклассирование пролетариата сочетались с ростом аппарата хозяйственного управления и распределения: в 1921 году он уже в два с половиной раза превосходил численность пролетариата - 4 миллиона чиновников, “полученных от царя и от буржуазного общества, работающих отчасти сознательно, отчасти бессознательно против нас”. [4, с290]

 Основанием социальной структуры общества оставались огромный слой патриархального или полупатриархального крестьянства, в большинстве бедного, а кроме того, не поддающиеся учету массы люмпенов, выбитых из жизненной - колеи войной. И во главе этого общества - партия, пролетарская политика которой “определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией”.[4, с20] Но и с этим “тончайшим слоем” далеко не все в порядке. 12 ноября 1921 года один из руководителей ЦКК РКП(б) А. А. Сольц писал в “Правде”: “Долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата возымело свое разлагающее влияние на значительную часть старых партийных работников. Отсюда бюрократизация, отсюда крайне высокомерное отношение к рядовым членам партии и к беспартийным рабочим массам, отсюда чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в деле самоснабжения. Выработалась и создалась коммунистическая иерархическая каста...”. В одном из писем известный деятель того времени X. Г. Раковский упоминал “автомобильно-гаремный фактор”, “играющий немаловажную роль в оформлении идеологии нашей советской партийной бюрократии”.[ 5 ] У партийной, элиты складывался своеобразный групповой навык, выражавшийся в отрицании общечеловеческих моральных ценностей, возведении в абсолют волевых, жестко авторитарных методов, применимых только в условиях гражданской войны, и распространении их на все случаи жизни, полный отказ от собственного “я” в пользу “партийной линии”. Эта мораль в дальнейшем способствовала успеху сталинщины и последовательному уничтожению представителей “старой гвардии” руками товарищей по партии, а конечном счете безжалостному обращению с массами трудящихся.

Довольно запутанные отношения сложились у партийной верхушки с управленческим аппаратом, заимствованным от царского режима. Вот что говорил об этом Ленин на XI съезде РКП(б): “...Не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет. Но если взять Москву - 4700 ответственных коммунистов - и взять эту бюрократическую махину, груду,- кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груду. Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут”.[4, с95]

Итак, в начале 20-х годов социальная структура советского общества представляла из себя пеструю мозаику разных классов и групп, “взрыхленную” мировой и гражданской войнами, белым и красным террором, разрухой; массу людей, выбитых из колеи, с оборванными социальными связями, с потрясенными до основания моральными устоями. При этом, пожалуй, больше других пострадал рабочий класс, который подвергся за эти три с половиной года политического господства таким бедствиям, лишениям, голоду, ухудшению своего экономического положения, как никогда ни один класс в истории. И понятно, что в результате такого сверхчеловеческого напряжения мы имеем теперь особую усталость и изнеможение и особую издерганность этого класса”, “...Никогда не было так велико и остро бедствие этого класса, как в эпоху его диктатуры”.[3, с132]

Много раз в последнее время ставился вопрос об альтернативах сталинской модели казарменного социализма, или конкретнее, о том, можно ли было сохранить нэп. Попробуем взглянуть на этот вопрос, учитывая прежде всего динамику общественных процессов, движения классов, слоев, групп населения в стране. Кому и что сулила новая экономическая политика?

Нэп, введенный партийным руководством вопреки собственному желанию под угрозой полного развала экономики и поголовного крестьянского восстания, был ненавистен и партийному, и государственному аппарату. Первому - потому что товарно-денежные отношения не подчинялись методу “простых решений” и, выступал регулятором экономической жизни, отнимали у партийного аппарата возможность командовать, порождая у наименее культурной его части ощущение собственной ненужности. “Совслужащие” же, в большинстве взятые внаем у прошлого, просто оказались не у дел: из имевшегося в 1924 году 1 миллиона безработных 750 тысяч - бывшие служащие. В 1928 году эта категория составила 50 процентов всех безработных. Таким образом, нэп способствовал неопределенности в положении и прямой люмпенизации работников управленческого аппарата.

Что же касается рабочего класса, то к началу первой пятилетки общая его численность по сравнению с 1920 годом увеличилась в 5 раз, а если вести отсчет от численности его кадрового ядра, то - минимум в 12, а скорее всего - в 24 раза. Вполне вероятно, что основную массу пополнения рабочих составила пауперизированная крестьянская молодежь. Многие из крестьян-мигрантов, поступавших на заводы и фабрики, сохраняли земельные участки и хозяйство в деревне. “...Каждый седьмой рабочий не умел читать и писать, многие справляли церковные праздники, ради чего могли и не выйти на работу, уход в деревню, например, на сенокос или уборку урожая кое-где был массовым”.[6] Как считал Христиан Раковский, “ни физически, ни морально он рабочий класс, ни партия не представляют из себя того, чем они были лет десять тому назад. Я думаю, что не очень преувеличиваю, если скажу, что партиец 1917 года вряд ли узнал бы себя в лице партийца 1928”. Думается в условиях пореволюционной России кадровый пролетариат и крестьянство представляли собой не просто два разных класса, а были носителями двух принципиально различных линий развития - европейской и азиатской. В свое время Г. В. Плеханов писал, что “в лице рабочего класса в России создается теперь народ в европейском смысле этого слова”.[7, с78] То есть цивилизованное, культурное, осознающее свои классовые интересы и способное их защищать, с развитым чувством собственного достоинства население. Что же касается русского крестьянства, то не слишком ли сильно преувеличивался его мелкобуржуазный характер? Есть много оснований согласиться с мнением И. М. Клямкина о том, что русское крестьянство, говоря экономическим языком, представляло мелкотоварного производителя добуржуазного типа[8], а на языке современной социологии - “традиционный сектор”, связанный не столько с товарно-денежным, сколько с натуральным хозяйством. И хотя нэп резко уменьшил долю пауперизированного населения в деревне, слой “бедняков” по-прежнему оставался очень значительным и оказал влияние не только на процессы “раскулачивания” и коллективизации. Остатки старого кадрового пролетариата европейского типа были захлестнуты морем сельских переселенцев, несущих в город не только традиционное крестьянское трудолюбие, но и - в лице именно этого пауперизированного слоя - мораль азиатского патернализма. Бывшие крестьяне были преисполнены радужных надежд, “революция растущих ожиданий” превращала их в послушную и доверчивую всякому волеизъявлению свыше массу.

Проиграли от нэпа две социальные категории: люмпены, не способные включиться в процесс производства ни при каких условиях, и работники бюрократического аппарата, лишившиеся с концом военного коммунизма распределительных функций, ибо в условиях нэпа регулятором распределения должен был стать “автомат” закона стоимости. Интересы собственно люмпенов совпали с интересами люмпен-бюрократов, и тем и другим был нужен перераспределительный аппарат, демонтированный в период нэпа: первым - как объекту его благодеяний, вторым - как причастным к распределительной кормушке. И притом парадоксальным образом эти интересы оказались как бы на параллельных курсах с общим умонастроением значительной части партийного аппарата, да и партийной массы. “...Годы нэпа проходили под знаком жгучей ностальгии... по временам военного коммунизма. Полистаем газеты тех лет и увидим, что новая экономическая политика изображена в них преимущественно со знаком минус. Почитаем воспоминания ветеранов, и встретимся с “тоской” по времени, когда все было “просто” и “ясно”: приказ - исполнение”.[9]

При такой расстановке социальных сил в стране нэп, думается, был обречен, несмотря на экономическую эффективность и благотворное влияние на все стороны общественной жизни. Сложилась не столь уж редкая в истории нашей страны ситуация: у объективно необходимой политики не оказалось соответствующей социальной базы.

В период “великого перелома” победила не просто одна из далеко не лучших моделей “неразвитого социализма”. “Азиатская” модель общественного развития одержала победу над “европейской”. “Европейская” характеризуется наличием независимых от государства субъектов собственности, развитыми гражданским обществом и классовой структурой, при которой государство - лишь элемент надстройки. “Азиатская” модель отличается тотальным проникновением государства не только во все надстроечные сферы, но и превращением его в решающий элемент базиса, слиянием отношений политики, власти с отношениями собственности. Государство превращается в верховного собственника всех средств производства: в социальной структуре поглощенного им гражданского общества складывается не классовое, а сословное деление (ибо главный классообразующий признак узурпируется государством).

Место нормального экономического обмена, распределения на основе товарно-денежных отношений в “азиатской” модели занимает так называемая редистрибуция (в переводе с английского - перераспределение). Этот термин ввел в обиход крупнейший представитель экономической антропологии Карл Поланьи.

Редистрибуция - неэквивалентный продуктообмен, основанный на волевом изъятии центральной властью прибавочного продукта с целью его последующего натурального перераспределения. Складывается ситуация с двумя зеркальными антиподами - социализмом и его “больной тенью” - “казарменным коммунизмом”, напоминающая Одетту - Одиллию из балета П. И. Чайковского “Лебединое озеро”. Каждому структурному элементу социализма соответствует уродливый “азиатский” двойник: общественной форме собственности противостоит государственно-бюрократическая форма; нетоварному характеру продуктообмена при коммунизме, гипотетически предсказанному Марксом и Энгельсом,-волевое перераспределение (редистрибуция) в рамках полунатурального хозяйства; социалистическому коллективизму как форме добровольной ассоциации свободных людей - казарменно-принудитсльный псевдоколлективизм; равенству всех в праве на самореализацию талантов и способностей - равенство посредственностей, равенству богатства - равенство нищеты и т. д.

Переход от товарно-денежных отношений к редистрибуции имел серьезнейшие последствия для всей социальной структуры советского общества. Ведь при такой системе общество делится на две основные группы: управленческую верхушку, выполняющую диспетчерско-распределительные функции, и рядовых производителей, создающих прибавочный продукт, изымаемый первой группой в перераспределительную сеть. Причем изъятие приобретает определенно выраженный рентный характер и напоминает явление, именуемое К. Марксом “рентой-налогом”.

Политический, внеэкономический характер изъятия прибавочного продукта с неизбежностью порождает деление общества на социальные группы, различающиеся по правам и обязанностям - деление не классовое, а сословное. Если в “западной” модели источник материального благосостояния - собственность на средства производства, то в модели “азиатской” - место в бюрократической иерархии: личная зависимость производителя, внеэкономическое принуждение, натуральная трудовая повинность - на одном полюсе общества, натуральные привилегии и опять же личная зависимость от вышестоящего - на другом. “Поголовное рабство” - так охарактеризовал К. Маркс систему отношений, сложившуюся на Востоке.[10, с485] Термин “рабство” употребляется здесь Марксом не в экономическом, а в правовом смысле для обозначения той системы личной зависимости, которая снизу доверху пронизывает всю пирамиду азиатской деспотии, при которой даже чиновник, обладающий огромной властью, сам является рабом более высокого начальника.

Специфическая особенность сталинской деспотии в отличие от азиатской - ее динамическая направленность на создание современной индустриальной базы общества. Необходимое условие стабильности азиатской деспотии вообще - абсолютное статическое равновесие. Введение в эту застойную модель целевого принципа, выходящего за пределы простого воспроизводства и направленного на создание материально-технической базы в принципе несовместимой с перераспределительной экономикой, подрывает основы данного порядка. Режим, созданный Сталиным,- сплошное противоречие, дьявольский гордиев узел. Типично азиатская, статичная система фискально-тягловых псевдообщин - “колхозов”. обираемых бюрократией, озабоченной лишь перераспределением произведенного, явно несовместима с динамичной политикой форсированной индустриализации. Новая техника и соответствующие её уровню интеллигенция и рабочий класс входят в противоречие с принципами азиатской деспотии. При таком порядке вещей сталинские колхозы (государственное крепостничество) и ГУЛАГ (государственное рабовладение) выступают “внутренней колонией”-источником накоплении, которые волевым путем перераспределяются для развития современного сектора экономики. При этом внеэкономическое принуждение, например, драконовское трудовое законодательство 1940 года, вынуждено уживаться с экономическими стимулами: ведь относительно высокий уровень производительных сил требует сохранения товарно-денежных отношений хотя бы в урезанном и деформированном виде (заработная плата, рынок потребительских товаров).

Роль бюрократии в условиях сталинского режима также неоднозначна. По природе своей она стремилась не к управлению современным производством, но лишь к выколачиванию, перераспределению (и присвоению) ренты- налога. Однако под кнутом террора чиновники были вынуждены осуществлять несвойственные им задачи индустриализации страны. Прямая социальная родня старокитайских “шеньши” и древнеегипетских писцов, они вместо возведения Великой стены или Великих пирамид были обязаны заниматься возведением Гигантов Индустрии - гротескная и трагикомическая картина. И если строительство разного рода “котлованов” вполне укладывалось в русло старых традиции, то налаживание современных индустриальных производств входило в вопиющее противоречие с социальной природой и общим культурным уровнем бюрократии.

Общество, создающее современную индустриальную цивилизацию методами египетских фараонов, неминуемо запуталось бы в противоречиях и не смогло достигнуть цели, если бы не универсальное средство, разрубающее все гордиевы узлы. Террор. Иррациональный, омерзительно-отталкивающий, он тем не менее в течение четверти века помогал обществу ценою страшных издержек и расточения живой силы народа справляться со своими проблемами и противоречиями.

Существовавшему при сталинском режиме обществу нельзя отказать в динамизме. Сословное деление (рабы -“зеки”, крепостные-колхозники, относительно свободные, хотя и не избавленные от гнета внеэкономического принуждения рабочие, интеллигенция, бюрократия и еще великое множество внутриклассовых делений и разного рода искусственных кастово-сословных образований) не было жестко фиксированным. “Вертикальные” подвижки из одного слоя населения в другой обеспечивали постоянный приток кадров в “современные” секторы за счет массового исхода из “традиционного”. Обусловленный репрессиями обратный поток с верхних уровней социальной структуры в ее “подвальные” этажи открывал возможности для головокружительных карьер, создавая иллюзию социальной справедливости и высокой социальной мобильности.

3. КЛАССОВАЯ МАРГИНАЛИЗАЦИЯ

Горизонтальные и вертикальные перемещения огромных масс людей вели к маргинализации основных классов общества. Массовое перемещение сельских жителей в города не сопровождалось развертыванием социальной инфраструктуры. Потеряв связь с деревенской жизнью, переселенцы не получили возможности полноценно включиться в жизнь городскую. Возникла типично маргинальная, “промежуточная” “барачная” субкультура. Обломки сельских традиций причудливо переплетались с наспех усвоенными “ценностями” городской цивилизации. Бесчисленные “нахаловки” на первый взгляд похожи на южноамериканские трущобы с их “культурой нищеты”, эмпирическими исследованиями которой в странах Западного полушария прославился в свое время Оскар Льюис. Но о полной аналогии говорить не приходится. Трущобы безработных “у них” и “нахаловки” у нас - явления социально различные. Обитатели наших бараков - не безработные, а люди, имеющие постоянный заработок. При внешнем сходстве черт быта коренным было социально-психологическое различие: безысходная тупиковость ситуации “у них” и состояние “революции растущих ожиданий” у нас. Ожидания питал несомненный рост промышленной базы, вера в “завтрашний день” обеспечивала и беспримерный энтузиазм, и готовность принять барачное существование, низкую зарплату, тяжкий труд. (Заводы, как пишет Л. Карпинский, строили вручную, с нечеловеческими усилиями, люди жили в нечеловеческих условиях. Так, на строительстве Магнитогорского металлургического гиганта умерли от тифа и других болезней около 60 тысяч человек [11, с652]). Надежда на “светлое будущее” (на которое, по старой русской традиции, не грех пострадать) позволяла народу и в тяжелейших испытаниях сохранить духовное здоровье. Но на энтузиазме нельзя жить вечно. Сколь бы долго - по природному своему долготерпению и безграничной доверчивости - ни позволяли барачные жители оттягивать оплату просроченных векселей, когда-то наступает срок выполнении многочисленных обещаний. Иначе “революцию растущих ожиданий” сменяет “революция утраченных надежд” с глубочайшим душевным надломом, цинизмом, психологическим деклассированном. Еще в тридцатые годы академик Винтер предупреждал о том, что временные сооружения являются самыми долговечными. Л. Лнинский в статье, посвященной анализу произведений И. Маканина констатирует: “барак, порождение первых пятилеток, жилье аврально - недолгое, рассчитанное на сезон-другой, застряло в нашей жизни на три-четыре десятилетия. Барак стал колыбелью нескольких поколений-психологические результаты этого сказываются теперь, когда поколения выросли”.

Несколько конкретных цифр, иллюстрирующих процесс “исхода” из деревни и соответствующий рост численности рабочего класса, интеллигенции, служащих городских жителей в целом. Если в 1924 году в стране было 10,4 процента рабочих и 4,4 процента служащих (от общей численности населения, включая неработающих членов семьи), то в 1928 году эти цифры составили 12,4 процента и 5,2 процента соответственно, в 1939 году - 33,7 процента и 16,5 процента. В течение трех неполных предвоенных пятилеток (1928 - 1940 гг.) среднегодовая численность рабочих увеличилась в 2,7 раза - с 8,5 миллиона человек до 22,8 миллиона, а вместе со служащими их численность составила 33,9 миллиона человек. Если доля естественного прироста в увеличении городского населения в 1927-1938 годах составляла 18 процентов, то на долю миграции сельских жителей приходилось 63 процента. В 1917 и в 1926 годах доля городского населения составила 18 процентов, а к 1940 году она возросла до 32 процента.

И в послевоенный период выходцы из села обеспечили большую часть прироста городского населения и рабочего класса. С 1951 по 1979 год ежегодный “отток” из деревни приближался в среднем к 1,7 миллиона человек а доля естественного прироста в увеличении городского населения поднималась весьма незначительно, составив 40 процентов в 1959-1969 годах и 43 процента в 1969-1978 годах. Наблюдались и определенные волнообразные колебания миграций “село-город”, что отражало как послабления в политике прикрепления работников к колхозам, так и ход разного рода бюрократических “экспериментов” над безгласным сельским населением,- ответом на сомнительные новации было усиление бегства из деревни. Так, например, если наибольший зарегистрированный за послевоенный период исход из деревни составил в 1953 году 3594 тысячи человек, то наименьший - в 1955 году, в период относительной стабилизации дел в сельском хозяйстве - 1023 тысячи человек. Во второй половине 50-х годов, по мере “завинчивания гаек”, поток сельских мигрантов вновь возрос, что повторилось затем в 1965 году, когда упали закупочные цены на сельхозпродукцию.

Типичная модель миграции: “деревня-малый город-большой город”, и общем совпадает с положением в несоциалистических странах, прежде всего в странах “третьего мира”. Экстенсивное развитие промышленности, как правило, связано с расширенной урбанизацией, стягиванием промышленных предприятий и рабочей силы в центры с более развитой инфраструктурой; а это ведет к ее перегрузке. Население страны с 1939 по 1984 год увеличилось в 1,4 раза, а численность городского населения-в 2,9 раза, причем население малых (до 100 тысяч жителей) городов-в 2,2 раза, больших (100-800 тысяч) в 3,1 раза, крупнейших (свыше 500 тысяч)- в 4,6 раза. С 1970 по 1987 год численность населения крупнейших городов возросла с 37,3 миллиона человек до 61,6 миллиона.

 Характерная для экстенсивного развития экономики тенденция к выкачиванию из сел и малых городов рабочей силы в большие и крупные города без развертывания соответствующей социальной инфраструктуры продолжает действовать. Эта тенденция в нынешних условиях приводит к формированию в рампах рабочего класса уродливой системы различных сословных групп, фактически ограниченных в своих конституционных правах различного рода подзаконными актами. Пример - “лимитчики” (советский аналог западногерманских “гастарбайтеров”). Отвратительным наследием сталинского прошлого является использование пенитенциарной (тюремно-исправительной) системы не столько по своему прямому назначению, сколько в качестве поставщика дешевой, неполноправной рабочей силы. “Довольствуясь двумя квадратными метрами жилой площади на человека (такова норма в ИТК), они освобождали ведомства от необходимости создавать разветвленную социальную структуру... Чтобы привлечь и устроить тысячу рабочих и их семей, нужно вложить 20 миллионов рублей. А когда их заменяют “условниками” из спецкомендатур, это обходится ведомствам ровно в двадцать раз дешевле”. “Зеки”, “химики”, “лимитчики”, “стройбатовцы” - разные степени внеэкономического принуждения к труду, от прямой личной зависимости до слабо закамуфлированной (у “лимитчиков”) - через место В общежитии, прописку, очеррдь на жилплощадь.. Относительно же первых двух категорий автор вовсе не хочет скапать, что осужденный по суду не должен работать. Отнюдь нет. Но осужденные не должны превращаться фактически в одни из специфических отрядов рабочего класса, наводняя стройки Урала, Сибири, Дальнего Востока и оказывая - через совместный труд - деморализующее влияние на другие отряды рабочего класса, а также на ведомства, компенсирующие дешевой рабочей силой низкий уровень фондовооруженности.

Система бюрократических рогаток (прописка, обмен жилплощади и т. д.), носящих явно выраженный докапиталистический характер, препятствует свободному переливу рабочей силы, дробя рабочий класс на многочисленные ведомственные, региональные, профессиональные и прочие касты, различающиеся по уровню правовой защищенности, обеспеченности социальными благами, снабжению и т. д. Эта уродливая система мешает и воспроизводству рабочего класса на своей собственной основе. Чтобы искусственно поддержать хиреющий процесс такого воспроизводства, используется система ПТУ, долженствующая пополнять рабочий класс крупных городов за счет сельской молодежи. Из-за предельно низкого уровня преподавания и оснащенности оборудованием эта система фактически закрывает для учащихся всякую возможность дальнейшей “вертикальной” мобильности. По данным авторов книги “Молодое поколение”, “из выпускников ПТУ делают попытку поступить в вуз лишь несколько процентов, и поступают единицы”. Заведомая предопределенность жизненного пути в качестве “работяг”, “пахарей”, фактическое неравенство со сверстниками из других социальных слоев, плохая постановка учебно-воспитательного процесса - все это делает ПТУ не столько источником пополнения рабочего класса, сколько еще одним каналом его маргинализации. Так, например, из пришедших на стройку выпускников СПТУ Ленинграда половина бросает работу в течение первого года. Качество профессиональной подготовки ниже всякой критики.

Маркс ввел в научное обращение понятия “класс в себе” и “класс для себя”. “Класс в себе” - общность, не осознающая себя как единое целое; она существует объективно, занимает определенное место в системе производственных отношений, но единства своих интересов не понимает и, следовательно, достойно защищать их не может. “Класс для себя” - общность осознанная, готовая отстаивать свои, отдельные от других классов интересы. Обусловленный сложными обстоятельствами вашей истории раскол рабочего класса на отдельные сословия, его ведомственная разобщенность консервируют состояние “класса в себе”, лишая возможности действовать в общенациональном масштабе. Как пишет А. А. Галкин, “для разобщенных социальных групп характерны пассивные формы сопротивления, а также спорадические бунтарско-анархические вспышки”. Борьба представителей рабочего класса за улучшение своего положения принимает в этих условиях форму внутриклассовой конкуренции в различных сферах - таких, как распределение жилплощади, заработной платы и прочих материальных благ при помощи связей, отношений клиентелы (а проще - “блата”), взяток и т. д. Вполне естественно, что подобная длящаяся десятилетиями “борьба” за реализацию потребительских интересов не только не укрепляла внутренние связи рабочего класса, но способствовала его дальнейшей дезинтеграции, сохранению и усилению его маргинализации. Все это низводит отдельные отряды рабочего класса до уровня “рабсилы”, превращая их в простой придаток к основным производственным фондам удельных ведомственных княжеств, создающих зачастую в одних н тех же регионах ряд дублирующих друг друга специальных ифраструктур.

Есть и другие причины сохранения состояния “класса в себе” для рабочих и иных социальных групп советского общества, причины, лежащие прежде всего в политической сфере. О них несколько ниже, пока обратим внимание лишь на тот факт, что социальные перемещения типа “из крестьян - в рабочие” дополняются другими типами таких подвижек. Например, “несоответствие между расселением населения и размещением образовательных институтов приводит к резному повышению миграции молодежи в ущерб менее развитым типам поселений и регионам. Три четверти людей в возрасте 30 лет живут и работают не там, где они родились; относительная стабилизация социально-профессионального положении человека, его места в структуре общества происходит примерно к 27 годам, до этого же он находится в состоянии “социального перемещения”. Ощущение неукоренности, “выбитости из колеи”, потери “малой родины”, вообще очень болезненно, особенно опасно для юной личности, только вступающей в общественную жизнь. Вот как описывает это Василий Белов в своих “Раздумьях на родине”: “Никогда не выветрится из души ощущение бездомности, чувство начисто обворованного человека, которое пришло сразу же, когда я узнал, что в деревне никого больше нет, что дом заколочен, и печь, которая не остывала много десятилетий, остыла и часы-ходики остановились. Часто во сне я плакал сухими слезами, плакал, а за окнами общежития шумела бессонная громада Москвы”. Неопределенность положения, вообще присущая студенчеству, многократно усиливается из-за необходимости преодолевать различные искусственные препятствия. Психику приезжего абитуриента травмирует фактическое неравноправие при приеме в вуз - лимиты для иногородних, больший, чем у местных жителей, проходной балл, реальная неравноправность при распределении на работу и т. д. Не случайно, анализируя мотивы самоубийств, специалисты относят к разряду потенциально опасных в этом отношении групп студентов высших и средних учебных заведений.

В целом по стране миграция необыкновенно велика, и в этом одна из причин социальной неопределенности, рыхлости, магмообразности населения. “Ежегодно в СССР около двадцати миллионов человек меняют места проживания. При такой подвижности в нынешней продолжительности жизни средний человек переселяется за свою жизнь шесть раз. И если сто лет назад подавляющее большинство людей умирали там, где рождались, то теперь большинство рано или поздно покидает свою “малую родину”. По последней переписи, жило не там, где родилось, 47 процентов населения страны в целом и 57 процентов горожан в частности”. Очень велика текучесть рабочих кадров. И в промышленности и в строительстве она превышает 11 процентов.

Хотя в настоящее время большинство населения проживает в городах, по происхождению своему оно сельское. Горожане третьего поколения (только их можно считать “вполне” горожанами) составляют в среднем не более 15 процентов. Причем потенциальные резервы миграции еще очень велики. Так, среди русских, белорусов и литовцев за год 4-5 процентов сельских жителей переезжают в город (у узбеков, таджиков, туркмен, грузин эта цифра в 5-6 раз ! ниже). В РСФСР доля потенциальных мигрантов среди русских сельских жителей по-прежнему высока - 21 процент, в Грузии среди грузин- 12, в Узбекистане среди узбеков - всего 6.

Общую картину неукорененности и неустроенности осложняет ежедневная “маятниковая миграция” огромных масс населения из пригородных зон к месту работы в города и обратно. “Только с 1975 но 1980 г. число людей, охваченных маятниковой миграцией, выросло с 13,2 млн. до 17.3 млн. человек”. “Развитие трудовой маятниковой миграции привело к тому, что возникла “дневная” и “ночная” социальные структуры города”. “Примерно каждый десятый ездит на работу в город из близлежащих сел или поселков городского типа. Обостряется и проблема “транспортного времени” внутри больших городов. Предельная усложненность квартирного обмена и невозможность свободной купли и продажи жилья превращают чисто бытовую задачу приближения места жительства к месту работы в социально-политическую проблему государственного масштаба.

Отсутствие условий для свободного перелива рабочей силы порождает в среде мигрантов весьма своеобразные человеческие качества. Фиктивные браки, махинации с обменом квартир, взятки, “лимит” и другие способы преодоления многочисленных социальных рогаток и фильтров приводят к “отрицательному отбору”, превращают большие города в своего рода отстойники далеко не лучшего человеческого материала. Как считает В. И. Переведенцев, “ситуация с пропиской вообще обернулась парадоксом: запреты прописки в крупнейших городах стали, по существу, запретами выписки...”: боясь потерять право на жительство, люди всеми силами пытаются удержаться в “запретном” городе, упускают возможности самореализации в другом месте. Значительная часть квалифицированных трудовых ресурсов находится как бы в скованном, связанном состоянии. Так, в 1974 году число выбывших из Москвы в расчете на 1 тысячу населения было втрое меньше, чем по городским поселениям СССР в целом. “Закрытость” города противоречит не только экономической целесообразности, но и этическим нормам. “Раньше в столицу приходили познавать науки, приходили из других городов ремесленники со своим инструментом и со своими навыками. А в послевоенные годы хлынул люд самый ушлый, изворотливый. И шел он из деревень с одной целью: найти легкую жизнь. Конечно, нельзя обвинять этих людей: обстановка в послевоенной деревне была несладкая, но ведь те, кто остался, вытащили деревню из нищеты и разрухи. А в Москве появился бездуховный мещанин с низким уровнем культуры, без серьезной профессии”.

4. СТЕРЕОТИПЫ ГОСПОДСТВА И ПОДЧИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Опасно, однако, не само “размывание” городского населения волнами сельских переселенцев, а невозможность при отсутствии социальной инфраструктуры для мигрантов укорениться, организоваться, наладить социальные связи в рамках новой для них среды. Превращение аморфных “классов в себе” в осознающие свои цели организованные “классы для себя” возможно только в условиях гражданского общества. Но именно этого-то условия после 1929 года и не было: после “великого перелома” сталинское государство приложило огромные усилия для того, чтобы разорвать органично возникающие между людьми связи, разрушить спонтанно зарождающиеся самоуправляемые организации - классовые, профессиональные, творческие, территориально-поселенческие, совокупность которых, в сущности, и составляет гражданское общество.

Длительная историческая традиция подавления и поглощения гражданского общества государством - черта не то чтобы специфически российская, а скорее общевосточная, свойственная “азиатскому” способу производства вообще. “Стереотипы господства и подчинения впитывались россиянином буквально с детства, они царили повсюду, воспринимались как нечто непреложное и естественное и потому не могли нередко не отравлять и революционное сознание”. Еще Герцен подметил в российских революционерах “свой, национальный, так сказать, аракчеевский элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий”. На этот специфический национальный элемент драматически наложилось свойственное любой нации в периоды революций стремление к разрушению старого общества, пресечению, подавлению малейших попыток противостояния, что неизбежно ведет к ломке моральных ценностей, моральному нигилизму. Небольшое “ядро” культурного рабочего класса направляло революционное творчество масс к созданию социалистического гражданского общества, но “азиатская” стихия оказалась сильнее. А это всегда чревато опасностью торжества жестко-авторитарного, нечаевского по своей сути, режима, установления специфической формы бонапартизма. К сложившейся у нас в 20-х годах ситуации вполне применимы слова, написанные К. Марксом в работе “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” о Франции середины прошлого века: “...Государство опутывает, контролирует, направляет, держит под своим надзором и опекает гражданское общество, начиная с самых крупных и кончая самыми ничтожными проявлениями его жизни, начиная с его самых общих форм существования и кончая частными существованиями отдельных индивидов, где этот паразитический организм вследствие необычайной централизации стал вездесущим, всеведущим и приобрел повышенную эластичность и подвижность, которые находят себе параллель лишь в беспомощной несамостоятельности, рыхлости и бесформенности действительно общественного организма...”.[15, с157]

Очевидны и исторические различия. Классический бонапартизм паразитировал на равновесии классовых сил, балансировал между одинаково сильными классами, стравливал их между собой, играл роль третейского судьи и, таким образом, как бы вставал над гражданским обществом. Сталинский режим основывался не столько на балансировке между классами, сколько на стремлении размыть их, превратить в маргинальные группы, сохранить в состоянии “классов в себе”. И в этом сталинский режим опять-таки более походит не на европейско-бонапартистский, а на азиатско-деспотический. Гражданское общество состоит прежде всего из “классов для себя”, а когда их нет, возникает небывало широкое поле для самых фантастических, самых диких социальных и политических экспериментов государственной власти. Она начинает выступать в качестве своеобразного “скульптора”, “лепящего” из податливой человеческой глины по своему усмотрению вер, что заблагорассудится, а чтобы “глина” не теряла податливости, “скульптор” - государство “размягчает” ее, обрывая естественно возникающие социальные связи.

И вот посреди полуживых колоссов - “классов в себе” - резвится самодовольный карлик - единственная группа, достигшая состояния если не класса, то сословия “для себя”- государственная бюрократия.

“Безадресный” сталинский террор преследовал весьма определенную жертву - гражданское общество. “Топор репрессий был, таким образом, направлен не на людей - на связи между ними. Люди уничтожались, так как при этом исчезали и беспокоившие Хозяина связи”. Сколь-нибудь солидарная группа, сплоченная, осознающая собственные интересы, подлежала неминуемому разгрому как потенциально опасная. Любую саму по себе возникшую автономную общественную организацию, даже самую “идеологически выдержанную”, бюрократия преследует вовсе не за “идеологию”, а за “самостийность”. Как писал А. Грамши, “если в государстве преобладает бюрократический централизм, то это означает, что руководящая группа, достигнув насыщенности, становится узкой кликой, которая стремится увековечить свои эгоистические привилегии, регулируя или даже предотвращая возникновение противодействующих сил, Причем даже тогда, когда эти силы по своей природе однородны с основными господствующими интересами...”.

Насильственный разрыв социальных связей, образующих клетки живой ткани гражданского общества, ведет к тому, что эта живая ткань оказывается изодранной в клочья. Для обозначения последствий этого явления используются разные термины, заимствованные у естественных наук: социальная энтропия, социальный распад, некроз социальной ткани. Смысл в любом случае один - человек, с которого “сдирают” слой за слоем социальные связи, как с кочана капусты сдирают лист за листом, постепенно превращается из “совокупности всех общественных отношении” в “абстракт, присущий отдельному индивиду”. А страна в целом, лишенная гражданского общества, одновременно лишается и источника самодвижения и саморазвития. Следствие - сначала частой, а затем и деградация.

 5. МАРГИНАЛЬНОСТЬ И ПРАВО

Во взаимодействии права с феноменом маргинальности есть нечто общее для всех стран. Э. Дюркгейм увидел корень проблемы в утрате связей части общества с социальным целым, что было зафиксировано им в категории “аномия” (безнормность). Аномия давала многим исследователям ключевую характеристику асоциальной части маргинальных групп, которые иногда считались неспособными переступить высокий порог нормального социума. Затем стали говорить о заколдованности самого порога. Асоциальных маргиналов пытались представить как неких первобытных субъектов.

Исследователь Черной Африки В. Тэриер описал обряды так называемых пороговых людей - ламиналов. Ламиналы и маргиналы, имея кое-что общее, принципиально расходятся. Ламинал временно утрачивает одни нормы, однако завершение обряда делает его частью нормального коллектива. Маргинал же, выйдя из одного состояния, не может отождествиться с другим. Отход от базовых норм становится бессрочным. Нарушение трансляции социального опыта между социальным целым и его частями, социальными группами и индивидами, структурами управления и управляемыми охватывает область права и правосознания. Само право становится маргинальным, а общество - анемичным.

Носитель аномии оказывается не в состоянии подчиняться ценностно-нормативной системе общества. Потеря нормы - часто условие ее нарушения, которое может закрепить маргинализующие факторы. Совершенно закономерно, что преступники вытесняются в маргинальные слои на периферию общества. Но при тех ножницах в праве, которые образуются между провозглашением равенства возможностей и отсутствием механизмов его осуществления, возникает интерференция норм и их взаимное угасание.

Может ли право носить маргинальный характер? Не является ли маргянализация права простым возвращением в ненравовое, а по сути в бесправное состояние?

Оказывается, нет. Так, а нашей стране в условиях нарушения трансляции правового опыта через правовые механизмы после распада социального целого советских структур происходит интерференция старых и новых правовых отношений, при которой старые структуры могут выполнять функции новых, а новые- служить для реализации прежнего правового потенциала. На поверхности общественной жизни такие явления воспринимаются как “суверенизация”, “война законов”,“правовой нигилизм”, “попрание нрав” и т. д. На самом же деле происходит маргинализация права, что означает ущербный тип правосознания и правового поведения, воплощающий переходную форму общественного сознания, а равно и некое “серединное бытие”, сочетающее элементы традиции и инновации. Причем традиция зачастую ведет себя как инновация, а инновация пытается утвердиться как традиция.

Маргинализация правовых норм не всегда означает распад социальности. Это могут быть нормы ложной социальности - нормы апартеида, оседлости, пространственной сегрегации, оккупационного режима и т.д. Об этом же свидетельствует стандарт маргинального сознания преступника: “они достигают всего через связи, а я через отвагу”, т. е. маргинал и преступник - сами творцы своего статуса. Но при такой трактовке права любые асоциальные стандарты, касающиеся части обществ, могут быть объявлены тсждественными стандартам социальным. Например, если для закона не существует различия между террористом-уголовником и террористом-революционером, то для маргиналыюсти или нормальности в смысле наличия базовых норм такого целого, в смысле связи с более высокой реальностью как источником норм, такие различия принципиальны.

Маргинал не обязательно преступник и не люмпен. Статус люмпена законен. Статус преступника нет, а статус маргинала может быть и тем и другим. “Быть вне норм” может означать разное. Более высокий статус для люмпена недостижим, пока он люмпен. Статус маргинала не конечное звено его переходности.

Таким образом, если обратиться к шкале нарушения кодексов культур, предложенной Т. Селином", то мы увидим, что первая позиция, когда кодексы сталкиваются на границах, присуща и люмпену, и моргиналу, и преступнику; вторая в потенциале интерференции юридических норм может трактоваться как исключающая преступника; третья, когда члены одной культурной группы переходят в другую, может быть названа как маргинальность на излете.

Структурно-функциональный анализ, типичный для западной социологии, не решает проблемы корней маргинальности и не объясняет маргинализации самого права.

Линия, восходящая к Р. Парку, дала ряд догадок, которые позволили раскрыть сущность маргинальности как распада социальных связей с базово-нормативным целым. Для социально-экологического направления феномен маргинальности не исчезал как самостоятельный объект.

Применяя выделение самостоятельности объекта для маргинального права, мы тем самым ставим вопрос о соотношении “нормального” и “маргинального” права, о специфике маргинальности, ибо простое отклонение от нормы ничего не объясняет. Если дело в нарушении социального наследования трансляции, размещения и приращения соц-иокультурного и правового опыта, то дисфункции также присущи всем группам и индивидам. Маргинальность не передается генетическим образом, ибо наличие социального контроля при относительно здоровых социальных условиях способно нейтрализовать специфически маргинальные характеристики индивидов и общностей.

При обосновании существования маргинального права могут быть выдвинуты три взаимосвязанных тезиса. Во-первых, маргинализация советского права является неизбежным следствием изменения контекста функционирования правовых отношений в направлении правового государства. Именно это и вызывает нарушение трансляции правового опыта и интерференцию правовых норм. Во-вторых, при переходе к новой правовой культуре неизбежно рождаются смешанные переходные формы юридических отношений, действующие как реальная практика и как фактор правосознания, превращая функционирующее право в маргинальное. В-третьих, восстановление нормальной трансляции правового опыта оказывается невозможным из-за аналогичного процесса в социальной структуре. Выделение маргинальных групп и их изоляция на разных уровнях социальной лестницы обостряет вопрос о социальных функциях правового государства.